ПОЭТ

Андрею Галамаге

В Ставрополе отмечали юбилей покойного уже, но обретшего после смерти еще большую популярность абазинского поэта. По приглашению городского землячества мы собрались группой, поехали, приняли участие в мероприятии, а после завершения официальной части в Краевой библиотеке последовал традиционный банкет в одном ресторанчике с итальянской кухней.

Я человек непьющий, к тому же в этот вечер мне желательно было вернуться домой пораньше, поэтому открывшаяся перспектива с велеречиво-многословными тостами и обильными возлияниями меня не обрадовала. Но спутники, с которыми я приехал, не прочь были отведать ресторанной снеди и пропустить пару стаканчиков чего покрепче. Имея немалый опыт аульских застолий, я ничего интересного от вынужденного угощения не ожидал, но покорно смирился с обстоятельствами. За общим столом я не без любопытства пробовал экзотические салаты и блюда под итальянскую мелодию, исполняемую на валторне и мандолине бородатым мужчиной и молодой женщиной в дальнем уголке. Переливчатые звуки плавно и размеренно окутывали небольшое помещение полуподвала, очаровывая слух и приглушая звяканье вилок, чоканье бокалов и те самые высокопарные тосты. Не избалованный европейской кухней и обстановкой, я проникался новой и необычной для себя атмосферой, с интересом осматривал зал с вырезанными в стенах нишами, в которых горели свечи, создавая приятный для глаза полумрак, и трапеза обретала неуловимо-возвышенное, романтическое наполнение.

Компания переговаривалась негромко, позванивала посудой, искренне-добрым словом вспоминала поэта, ради которого мы собрались. Я сидел молча, особо не вникая в разговоры и стараясь представить Италию времен Ренессанса, но болтливая соседка небезуспешно прерывала полет моей фантазии. Между тем ужин затягивался, и я уже с нетерпением поглядывал на часы…

На юбилейный вечер был приглашен столичный поэт, переводивший нашего на русский язык, и, по мнению некоторых, не совсем удачно. Я тоже относился к их числу, и потому с самого начала отнесся к нему без восхищения. Он и не привлекал к себе внимания: сидел тихо, вслушивался в беседу, говорил мало, разве что кивнет или поддакнет соседу. Но вот под конец застолья и ему дали слово, попросили почитать стихи.

Он поднялся как-то неуклюже, немного повозившись, задвинул стул под стол, как бы оттягивая вынужденно-неприятную для себя минуту, обреченно-неуверенно оглядел присутствующих, и стал говорить что-то. Похоже было, что он так и не свыкся, не успел освоиться в новой для себя обстановке и чувствовал себя неловко. Но потом он как-то повел плечами, словно пытаясь стряхнуть с себя нечто сковывающее, и стал говорить просто, естественно, без всякого пафоса, но проникновенно, впечатляюще. А потом потекли стихи. Как неожиданно! Я и не заметил, когда и как обратился в слух, все больше и больше покоряясь какой-то неведомой, мягкой, но подавляющей силе. Завораживающая магия слова… Метафоры оживали и выстраивали сюрреалистичную картину того, что происходило внутри меня. Никогда раньше не переживал так остро чтение литературного текста, не чувствовал красоту слога, не сопереживал столь трепетно проговариваемому, чем в эту минуту. А он все читал, не стараясь оказать впечатление, не задумываясь над следующей строкой, будто он говорит не стихами, а изъясняется обычной прозой. А на меня его строки обрушивались нескончаемым волшебным водопадом…

Зал умолк. Даже болтливая соседка моя замерла и стала частью декорации невиданного спектакля. Я узнал и окунулся в тот мир, которым грезил в юности. Этот нереальный, невещественный, но физически осязаемый мир, связующий, объединяющий людей невидимыми нитями любви к прекрасному, возвышенному, невыразимому…

Обычный человек, ничем не примечательный, с видом простака, несет в себе мир такой величины, что поражаешься: как такой маленький и хрупкий не переломится под его тяжестью? Как не унесет его в космос этот громадный воздушный шар поэзии, рвущийся, устремляющийся в небо вон из этого маленького полуподвальчика?..

Мы возвращались домой дорогой моего далекого студенчества, когда и меня глубоко волновали высокие помыслы, желание сделать нечто значительное, оставить после себя некий след, который должен был обратить на себя внимание многих… Тогда мне казалось, что живопись покорится мне, и я покорю мир живописи…

Я смотрел в ночь сквозь окно микроавтобуса, и воспаленные образы несбывшихся грез моих отражались на вспотевшем экране стекла, вспыхивали сполохом, угасали, уносились в темноту и снова возникали. Меня покачивало, я закрывал глаза, мысленно восстанавливал в памяти фрагменты насыщенного событиями дня и был грустно-счастлив тем, что оказался причастен к ним, к этому тихому вечеру, к этой необыкновенной встрече с Поэзией…

Амир БИДЖЕВ

Как я стал импрессионистом

Рассказы

КАК Я СТАЛ ИМПРЕССИОНИСТОМ

После окончания восьмого класса я по совету товарища поехал в Ставрополь поступать на курсы художника-оформителя. Этому выбору способствовало и то, что в школе считали, будто бы я недурно рисую. Что ж, поехали!..

Условия выдачи дипломов в этом училище были таковы: тем, кто имел подготовку в художественной школе и отличался способностями в процессе обучения, выдавали диплом художника-оформителя, а всем иным – маляра-альфрейщика. Но об этом я узнал лишь впоследствии. А тогда – приехал из аула, прошел отборочный конкурс по аттестационным баллам и поступил. Уроки рисования проходил я впервые, и мне они давались с трудом. Учеба базировалась на декоративно-прикладном искусстве, а живопись и основы рисунка изучались поверхностно. Я ничего не знал об истории искусства, о жанрах и стилях, о художниках. Основное время проводил в спортзале на тренировках по боксу, и преподаватель по этому поводу пошучивал, что выдаст мне диплом «боксера-альфрейщика». Альфрейщик – маляр, специализирующийся на росписях стен декоративными узорами. И кто знал тогда, что эта профессия увяжется за мной на долгие годы как основной источник дохода, который я стану со временем ненавидеть. Все, чему я научился за два года, – это боксировать, писать пером печатные шрифты и чеканить по металлу.

Потом была в моей жизни служба в армии на космодроме Байконур. Когда ротный спросил о моем образовании, я назвался художником. Меня определили писарем в Штаб управления войсковыми частями, где под началом полковника Цехмистера и прошла моя относительно спокойная армейская жизнь, сочетавшая безделье с писанием таблиц и лозунгов под грохот взлетающих ракет в знойной казахской степи.

После увольнения в запас я решил продолжить учебу и сдал документы в Сухумское художественное училище. Меня определили сразу на третий курс, так как какое-никакое образование у меня все же было. После выжженной степи природа субтропиков показалась раем. Запах моря и цитрусов придавали мне особый творческий настрой. На съемной квартире у тети Ксении на улице Агумаа нас было восемь парней и одна девушка. Фае, сестре Гиды, была предоставлена отдельная комната, а мы, разделив спальню, лоджию и кухню, жили дружной семьей, не обращая внимания на вечный кавардак – повсюду валяющиеся альбомы, этюдники, холсты, рамки и краски, открытки с иллюстрациями картин художников. Их было много, и я с интересом разглядывал незнакомые мне репродукции работ западных художников-импрессионистов, но не находил их привлекательными. Впрочем, о большом искусстве я имел отдаленное представление. Мне больше по душе приходились картины русских передвижников, хотелось научиться рисовать так же пластично, как они, но не получалось.

Однажды я сидел на лоджии на четвертом этаже и выводил панораму дальних гор, когда зашла Фая с рулоном свернутого ватмана. Она поинтересовалась, могу ли я писать пером, на что я ответил утвердительно. Соседка училась в университете и проходила учебную практику в местной школе. Ей нужно было наглядное пособие по математике, где изображались бы яблоки и числа, представляющие действия сложения. Я с энтузиазмом взялся за работу, желая продемонстрировать новой знакомой свои творческие способности. Быстро набросал заголовок и нужные цифры пером, после чего принялся писать яблоки акварелью. Рисовал я тщательно, стараясь произвести как можно больше впечатления. По всем правилам живописи я изобразил форму шара в несколько слоев, придавая объем и освещение: полутень, тень, и приступил к прорисовке фактуры, намечая плавные переходы на кожуре яблока разной насыщенности. Я все еще копошился над фруктом, следуя усвоенным правилам, как появился сосед-старшекурсник Арсен. Он встал рядом с Фаей, с большим вниманием и удовлетворением наблюдавшей за моим действом, и насмешливо спросил: «Что он делает?».

Я мрачно взглянул на него и снова обратился к листу ватмана. Он бесцеремонно повторил свой вопрос, адресуя его уже мне. Ну очевидно же все! И потому я грубовато и задиристо сказал:

– Что, не видно? Яблоко!

– А разве так рисуют яблоко? – недоуменно произнес он и выхватил из моих рук кисточку. Обсмотрев, отбросил ее, поковырялся в шкафу, достал большую беличью кисть, взял литровую банку и наполнил водой. Отстранив меня от стола одним движением, он сел и, как факир, вознес руку.

– Яблоко нужно рисовать так! – сказал Арсен и, взмахнув кистью как волшебной палочкой, демонстративно макнул ее в воду, потом в краску и нанес большой жирный мазок ярко-изумрудного цвета на бумагу. Я подумал, что он самоуверенный бахвал, потому как еще не знал о его репутации лучшего живописца училища. Побурлив кисточкой воду в банке, он выбрал желтый цвет и так же размашисто и уверенно нанес второй мазок рядом с первым полукругом. Я недоумевал: два разных цветовых пятна в одном яблоке? И столь насыщенные и контрастные?! Да он просто играется! Но Арсену нет дела до моей рефлексии, он поворачивается ко мне, комментируя свои действия: – Добавляем еще больше экспрессии! – и кисточкой начинает разводить красно-пурпурный цвет.

Ну, думаю, он вообще дальтоник или идиот! Не соображает, что делает, или куражится перед девушкой дешевыми понтами. Так можно писать только дорожный светофор: красный, желтый, зеленый! А секрет акварели заключается в том, в каких частях берешь соотношение воды и краски, и в каком месте наложишь. От точности этого действия и зависит результат работы!

Пока он разводил красный, желтый и зеленый слились, образовав на границе дополнительный оттенок. Красный он наложил прямо на зеленый, сотворив тем самым румянец. Вся процедура заняла пару минут.

– А теперь, – продолжает он, – наносим последний штрих! – И кончиком кисти, легкой и быстрой, водрузил плодоножку на яблоко. На моих изумленных глазах из всего этого месива постепенно вырисовалось сочное яблоко.

Довольный произведенным эффектом, Арсен рассмеялся и ушел. Фая была счастлива тем, что проучили новичка. Я стоял пораженный. Как все просто и красиво! Яблоко завораживало меня, как будто на моих глазах произвели шедевр. Я был убит неожиданным талантом земляка. Вот что такое, оказывается, импрессионизм, который я не уважал…

Естественно, я не сразу стал поклонником чуждого мне до того направления, но я, кажется, понял его суть. Это был момент истины! После были беседы и долгие споры с Арсеном о живописи и искусстве, часы и дни, проведенные перед мольбертом и натурой, но первый урок так и остался в памяти как светлое прозрение и начало понимания языка живописи. Я и до сих пор уверен, что путь к осознанию искусства у меня начался именно с этого яблока для наглядного пособия по арифметике.

Перевод с абазинского – Георгия Чекалова

Вячеслав АР-СЕРГИ

Бабкины памятки

Рассказ

С детства привычкой маюсь: всё бы мне за работой насвистывать. Что вилы в руках, что топор – свистеть бы мне да посвистывать.

И на тебе, нарвался…

– Эхма, маленький негодник! Всю удачу свою да талан и высвистнешь, – журила бабушка. – Дело-то, оно ведь, соловушко, заботой, а не свистом ставится…

– Ну, бабуль… Мне мою работу делать, что со свистом, что без него! И у всех так-то: абы справился, а то – как и почему, и кто помог: лешак или Боженька твой, – кому какое дело? – ерепенился я.

– Не юродствуй, неслух! Не нами обычаи заведены, деды-прадеды нас не глупее были, всякой весточке знали местечко…

…Добро бы, если бы она всё это только мне в уши пела. Нет, она и за уши не против была – в прямом так-таки смысле.

Гнал я как-то скотину с луга да и, заслышав жаворонка, серебряную капелюшку, сам стал: фюить-фю-ить! тьох-тьох-тьох! – руладами-то да переливами… Душа поёт! Вот, кажись, тронь кто рядом баян лихими переборами, либо гитарой зазвени – не плоше того высвищу…

Словом, хоть некому было, кроме барашек да коров, мой дар божий оценить, увлекся я. Утратил бдительность. А бабка-то, едва вошел я во двор с самодельной своей музыкой, – цоп меня за ухо! И пошла мотать моей головой из стороны в сторону; слёзы у меня брызнули, а она приговаривает:

– Дак ты что, дитенок? Да это кто же скотину свистом погоняет, над живой душой её изгаляется?! А что старики тебе говорят? А надо их слушаться или нет? Будет этому конец… будет… будет… будет?

– Бу-у… – в голос залился я, и бабкины пальцы разжались.

– Смертней смертного грех этот, – объяснила она мне позже, когда я, управясь со слезами и блюдцем выставленного на мировую медка, ощупывал вспухшие свои «лопухи». – Посвисти около скотины – и ослабнет она, от чужого сглазу пропадет. Настырный ты… Ну ладно, ворота по-своему, да только тогда, когда и старших и предков наших умом-разумом превзойдешь! А разве это возможно, сообрази-ка сам, чтоб больше самого Шудзя, основателя древнего нашего рода, знать да ведать… То-то, шалопут!

Оценив в буквальном смысле ушами бабкину науку, скотину я больше свистом не погонял. Но, видать, и бабка о святотатстве моем помнила крепко и все время поджидала рецидива, не спуская теперь воспитательного своего ока с меня повсюду, где только могла меня им достичь. В том числе и на сенокосе.

Дело это в деревне самое общественное: стар и млад на лугу. Без моей бабки куда ж? С литовкой-то уже тяжеленько ей, а ворошить траву в самый раз. Я ж со старшими стог мечу, и уж доволен да горд – слов нет! Штука тонкая, не всякий гож, а мне вот доверили… Жаль, бабка издали бдит. Так и целит глазом, как курица на червяка. Думает, невдомек, что она там себе про меня соображает. Ха-ха! Да то и соображает: ах, испортит, шайтанёнок, всю кашу, забудет, что говорено: «не свисти, разбудишь большую грозовую тучу, что спит за Утар-лесом…».

Этой самой тучей она мне вчера вечером просто дыхнуть не давала: приманишь да разбудишь, не свисти да не свисти… Больно надо! Гляди лучше, бабуль, какое сено славное, цветком да листком перевито, да суховито, да духовито… Фиу-лиу-лиу… Да как работа спорится… Тьох-тьох-тьох… Жир-жир-жин!.. Как душа поёт… Фью-фью-фью… Тьфу ты, леший! Это ж надо: все-таки не удержался я, засвистел втихомолку, для самого себя неожиданно. А там и – шире и громче…

А скирда-то на глазах пухнет, прёт из-под земли, как тулово здоровеннущего гриба, выше и выше. Теперь односельчане вкруг неё мурашами снуют. И все бы любо-дорого, только небо с чего-то притуманилось, тенью подёрнулось, и дохнуло из-за Утар-леса пронзительным холодком. А потом сухо так зашуршало, словно две ржавые железяки друг о друга потерлись. А вот и глухо охнуло, вот и прогремело вдали. И словно пошла пыхтеть в огромном котле спеющая каша: бултыр-бул-тыр, плюм-плям… Вот она, туча-то, выставила из-за леса голову свою тяжёлую и литую, словно из горячей смолы только что отлитую. Бычья голова эта уставила на нас сухие свои, кровью налитые глаза и взревела: «Му-у… Мне спать не давать?! Со-кру-шу-у-у!!!».

– Суседи, поворачивайся! Не хватить бы нам дожка в сенцо, – Лепон, бригадир наш однорукий, машет рукой, сам вилы, словно ружье, наперевес схватил. Бога и мать пречистую вспоминает, торопит, а туча-бык уже тащится, прёт на стог: тра-та-тах!

И повлажневший воздух принялся уже пошвыривать комья сена, свинцовую рябь, а за ней и волну белоголовую по Позими покатил. И песню однотонную запел-затянул в камышах речных, бродяга…

…Стог мы все же дометать успели. И едва бросили на него последние навильники травы, как будто лопнул над нами темный войлок низкого неба. Дождь сыпнул крупно и отвесно. Все – кто куда так и порскнули: под телегу, в гущину кустов, под стог… Хохочут, кое-кто одежку мокрую отжимает. Бабка, понятно, рядышком со мной от дождя таится…

– Ну, сделал свое дело, шалопут?.. Доволен ли? – тычет она мне в загривок своим когтистым кулачком. Тонкие губы строго сведены в ниточку. В сердцах выжимает айшет, передник.

– Да бабуль, ты что, в самом деле? Дались тебе эти байки-россказни! – обидно мне, тошнёхонько. – Неужто я посвистал малость, да такую тучищу этим сюда и приманил?

– А кто же еще-то? Ты черов-бесенят взбудил, а они большую тучу под бока растолкали, из-за Утаровского леса её сюда и спровадили – прямо к нам!

– Здрассьте, объяснила… Ты, бабусь, меня, как маленького, до сих пор сказками потчуешь. Не они ли и помогли нам так споро со стогом управиться, побасенки твои?

– Не смей! – Бабка жарче молнии опалила меня глазами, молодыми и тёмными: – Какие еще тебе сказки?! В приметах да заветах – ум людской да память человечья! За ними люди, предки наши стоят, удмурты за ними, навсегда по реке жизни ушедшие… Ботало ты, ботало! – обругала меня бабка и шагнула в плотную пелену дождя.

– Бабушка-песянай! Ну прости, бабусенька! Не хотел я… – ринулся я за нею и тут же промок до нитки. Благо, дождь был теплый и какой-то ласково-мохнатый. Слова не ответив, бабка шла впереди, молчком мы и добрались до дому.

…Долго, неделю целую, учила и мучила меня своим молчанием моя бабка. И костерил же я себя за дурь мою: чего, спрашиваю, вздумал над старенькой потешаться? Ни обычаем, ни по честной совести в народе нашем такое не водится. Но после нашел подход и искупление: наладил ее старенькую прялку, отшлифовал стеклом, лаком покрыл… Оттаяла бабуля моя. Но слово крепкое и зарок взяла: не сметь мне больше впредь над старыми обычаями потешаться. Чтобы навек не заказал себе собственную удачу и настоящую цену всякого дела свистом по ветру да по свету без толку не рассеял. Ну и дал я ей такое слово. Зарёкся, в общем…

* * *

…Вот и годы мои на осень поворотило. И того дальше. Пали на виски мои белые снеги, да так и не стаяли. И студёно стало им, вискам моим, от этого неталого снега времени…

Бабка же стала тяжко и долго недомогать. Сдали силы, надломленные вечным немилосердным трудом. И в войну кипятку жизни крутого хватила, и после горяченького досыта нахлебалась. Вот и приглядела местечко на печи, редко спускаясь теперь по приступам, недостачу тепла в дремлющей крови стала у кирпичей на лежанке поспрашивать. Сама говаривала: подо мной, де, теперь и скамейка не согреется…

«Время человеку цыплят кормить» – называют эту пору жизни в нашем народе. Только, дескать, сил и осталось, чтобы справлять это нехитрое дело. А у бабули моей даже и на него мочи не стало, сидела в избе. Частенько теперь кутал я ее потеплее, словно младенца, и выносил на руках подышать свежим воздухом. Она стеснялась и охала, крепко обнимала мою шею иссохшими, туго обвитыми венами ручками, неприметно поплакивала, но на вольную волю тянулась. И сегодня вот, едва тронуло первым теплом снега, дохнула на окрестности молодым задорным дыханием весна, одел я бабусю поосновательнее, вынес во двор… Да, на глазах иссыхало и таяло её тщедушное тельце, все меньше клокотало в нём жизни. Кусая губы, пряча глаза, усадил я бабулю в вынесенное из горенки кресло…

– Пошли тебе, Господи, детонька… – торопливо втягивая воздух, благодарила она.

Бабка ты… бабуля моя… Натянулась на острых скулах кожа, глаза поблекли, словно зола на погасшем костре…

– Ты, детонька, не гляди на меня, старую, ты работу свою работай…

– Хорошо, бабуля…

…Взял я топор, да калитку, что в огород ведет, чинить принялся. Худо затворяется, надо боковины пообтесать. Ну, и досточку эту вот не минет менять… И эту… и вот эту тоже… Словом, вник в дело, озаботился, а бабулю, похоже, поговорить потянуло.

– Дитенок, слышь-ко, чего скажу?

– Ну-ка, ну-ка…

– Это вот с таких как я людей раньше, наверное, алангасаров-чудищ понапридумывали. Излом да вывих, глянуть страшно. Единым днем все в жизни меняется, – конфузливо и виновато усмехается она и – меня ли, себя ли самоё? – спрашивает: – Это сколько же раз калитку ту самую мне отворять да закрывать пришлось? Скрип-скрип, стук-стук…

– Много, бабуль… Несчетно раз. И впредь отворять-затворять будешь, – успокоительно заверяю я.

– Да уж нет, видать, дитенок… Годы не уроды, их, как вон досточки-то твои, не переменишь…

– Что с тобою сегодня, бабушка? Сейчас только жить да радоваться. Ну, и учёные, знаешь, сейчас всем миром бьются, как жизнь человеческую продлить. Учёные головы сообразят что-нибудь…

– Пушшай продлевают. Во здравие. Не мне уж. Устала… Ох, притомилась я, дитенок! Душенька моя устала…

– Все ладно будет, бабуля! – я смаху воткнул топор в столб. – На днях вот в город поедем, в больницу. Это не наш райздрав – врачи хорошие, во всех хворостях разберутся. Гляди, плясать эшшо пойдешь!

– Отплясала я свое, дитенок… – тихо усмехается бабушка. – Мои дороги домерены, видать. Тело тут эшшо, а душа.. она, миленький, уж к рекам тронулась, к рекам…

– Фершал, што ли, позавчера сказал? – паникую я.

– Да уж он-то… Он, может, и знает, да не скажет. Ты мне сказал, ты, детонька!

– Я-а?! Когда? Бабуль, с тобой ладно ли? – я тороплюсь к ней, уязвленный ее словами в самое сердце.

– А сейчас вот сию минуточку и сказал… И твое ведь, дитенок, времечко бежит, катится. Посвистывать, свистать-то во время работы забыл, а? – тихо и лукаво смеётся она. – Канула твоя песенная пора, время соловьиное. А твоя канула – что уж о моей говорить? Ты слышь-ко, вот бы чего… Ты бы, дитенок, – сегодня прекословить не стану я, не стану, – ты бы посвистал маленько, а? Ну, хоть нашу «Ялыке», плясовую-то? Не пообидь, потешь напоследок…

…Бабка ты, бабуля моя – песянай… Оно и посвистать бы, потешить – да отчего-то язык присох к гортани…

Татьяна ВОЛЬНОВА

Бронзовая ночь

Рассказ

Зачем я тебе это рассказываю? Возможно, просто держит и не отпускает, не забывается, хотя и прошло много лет. А кажется, что вчера…

На вопрос – как называется столица Литвы, ты можешь ответить – Рига… Люди путают Литву с Латвией, а про Эстонию вообще мало что знают.

Литовцы довольно понятные люди – веселые, горячие, по темпераменту они ближе нам, чем эстонцы, и язык у них понятный – там все, как в русском – подлежащее, сказуемое, остальные члены предложения. В эстонском не так. Однажды эстонка с проснувшимся самосознанием вдруг заявила:

– У вас у русских все через зопу!

На что получила ответ:

– Это с какой стороны смотреть.

Чтобы понять, что написано в предложении на эстонском языке, следует начать действительно через… короче, сзади. Начинаешь переводить с последнего слова и так по цепочке вперед, возможно, тебе и откроется смысл сказанного. Но это для русского человека довольно сложно – начинать с конца.

В тот апрельский день никто не думал, что они решатся. И я не думала. Все видели и слышали о клятвенных словах премьер-министра о том, что до 9 мая никто ничего не тронет. И тот дядька. который шел через площадь со своим велосипедом, а потом вдруг изменил маршрут и приблизился к скоплению людей в центре, где во главе толпы возвышался человек в форме полицейского…

«Это наш страж порядка», – подумал он и… получил удар в лицо. Велосипед его смяли, самого повалили на землю и связали руки строительной лентой. Он, конечно, этого не ожидал, но именно в этот момент он что-то понял о демократии и увидел, как на землю валили всех подряд – мальчишек, мужиков и юных девочек. Одну из них подбили под коленку, она упала и закричала:

– Что вы делаете! Что вы делаете?

У человека, который первым пустил газ в лицо людям, есть имя, фамилия, адрес и все остальное, что к этому прилагается. Но у него есть еще приказ, который он незамедлительно исполнил. Именно он пустил газ в лицо тем, кто кричал:

– Ансип! Ты обещал! Ты обещал!

Они все еще верили в обещания политика, а он им удушающий газ в лицо! И тогда высокий женский голос прозвучал на Тынисмяги:

– Вы фашисты!

А услышать правду иногда ой как неприятно! Мы фашисты? Да ну! Это вы, русские, пришли сюда и защищаете свой памятник в центре города, который нам отвратителен. Каждый год в мае вы собираетесь тут, устилаете землю гвоздиками, поёте песни военных лет, которых мы не знаем и слышать не хотим.

А мы шли и несли цветы, потому что к своему деду не добраться, он лежит далеко в сердце России, а положив алую гвоздику к ногам Бронзового Солдата, нам казалось, что и своим близким мы смогли поклониться.

Для Бронзового Солдата позировал известный эстонский борец, олимпийский чемпион Кристьян Палусалу. Мужественное лицо, каска в руке, голова опущена в скорбном молчании.

Сюда в День Победы приходили люди, вспоминали погибших родных, благодарили за жизнь и плакали. Не проходит сердечная боль, если ты не смог увидеть живым деда, который выжил, вернулся с войны, но вскоре умер от ран. Эти цветы ему. Их так много, что Солдат по пояс утопал в них.

Но настаёт день, когда и в этой малости людям отказано. Отказано в памяти, скорби и благодарности.

Что обещал людям человек с глазами тухлого судака, едва лишь прошли слухи о сносе памятника? Он обещал, что до праздника 9 мая памятник не тронут. Он это обещал через СМИ, через ТВ и газеты, он обещал. И люди поверили.

Но когда памятник окружили забором, затянули сеткой 26 апреля, задолго еще до 9 мая, молниеносно по городу разнеслась весть, что они что-то затевают. Люди собрались быстро, и стояли рядом с памятником, а за спиной у них высилось здание Национальной библиотеки. Библиотека! Слово-то какое! Хранилище мудрости, истории и правды. Где на полках стоят книги о событиях военных лет и о том, кто освобождал Таллин от фашистов. Но это не помешало им сотворить зло, которое они учинили под покровом ночи.

Сарафанное радио сработало стремительно. Парни стекались к центру из всех районов и отдаленных поселков. Они и жен с собой прихватили в надежде, что к женщинам не смогут применить насилия. Они применили, ребята! Они даже не задумывались о том, кто перед ними: 16-летняя девчонка, парень в тяжелой куртке, уставший после работы или женщина с ребенком.

Казалось, весь город вышел на главную площадь. Люди кричали, увещевали полицию, но всё бесполезно. Их блокировали с четырёх перекрёстков, хватали и бросали в машины, пригнанные специально для погрузки людей.

Неважно, кто первым кинул камень в витрину магазина, потому что камера зафиксировала все и даже крики: Kuradi! Kurat! Давай!

Энергия гнева рвалась наружу и нашла себе применение. Камни точно попадали в витрины близлежащих магазинов, которые посыпались стеклянным дождем. Всё это потом назовут русским варварством. Двойные стандарты работают прекрасно.

Пожилой мужчина, который прежде никогда не сталкивался с таким зверским оскалом полиции, смело выдвинулся вперед и подошел вплотную к строю людей в черной форме. Он кричал – что вы делаете? Я плачу налоги, я старый человек и всю жизнь проработал в родном городе, а вы на мои деньги будете меня убивать?

Но роботам разговаривать не положено. Они молча смотрели на него и у одного уже поднялась дубинка.

Город гудел. С грохотом разлетались на мелкие осколки стеклянные остановки. В витрины магазинов, теперь уже без стекол, ныряли и русские, и эстонцы и выбегали оттуда с какой-то добычей. Неважно, что это было – блок сигарет или бутылка виски, но гнев заливал сердца молодых парней.

А полицейские гнались за каждым, кто попадал в их поле зрения. Кто этот человек – митингующий или просто гуляет по городу, который до сей минуты считал своим по той причине, что здесь родился. У него нет другой родины, кроме этого старинного города. Он был уверен, что это его город, ведь он тут появился на свет, рос, ходил в детский сад, учился, а сегодня внезапно оказался в чужом городе.

Машины, набитые людьми со связанными руками, одна за другой отправлялись с площади в ангар, где людям не разрешалось подняться с колен.

В ту ночь они собрали большой урожай. Восемьсот человек были привезены в ангар и поставлены на колени. Тех, кто не подчинялся, били по ногам дубинкой. В углу стонал немец – Ich bin Deutscher… но никто его не слышал.

В эту ночь памятник свалили, погрузили на платформу и увезли на военное кладбище подальше от города, где он потом был установлен на самом низком постаменте, какой только можно было придумать. Иезуитству предела нет. Премьер-министр приходил туда 9 мая, нисколько не смущаясь, в окружении охранников, ранним утром, чтобы никто не смог бросить в него тухлыми яйцами.

В Бронзовую ночь многие осознали себя русскими. Один парнишка в тесно спрессованной стене таких же наэлектризованных молодых людей, готовых на все для защиты символа победы над фашизмом – Бронзового Солдата, громко произнес:

– Я русский! Никогда больше не ударю русского!